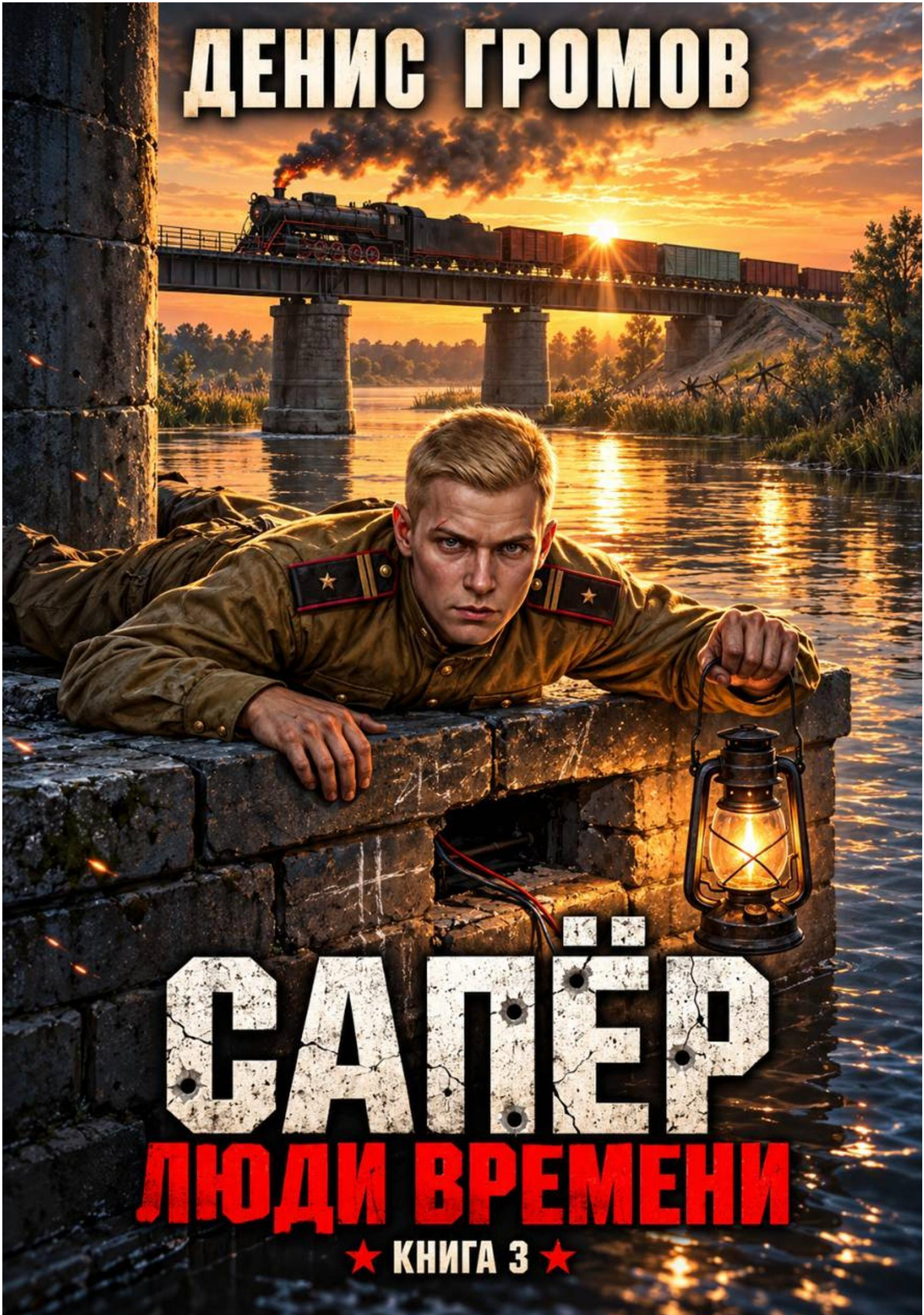

ДЕНИС ГРОМОВ
САПЁР
ЛЮДИ ВРЕМЕНИ
КНИГА 3

Денис Громов

Сапер. Люди времени

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Сапер. Люди времени / Д. Громов — «Тайниковский», 2026

Сапёр из нашего времени приходит в себя в июне 1943 года — в теле молодого красноармейца, которого с маршевым пополнением отправили под Курск.Вокруг подготовка к главной битве войны: ночные минные поля, тысячи мин за смену, поля, которых никто не записывает. Батальон теряет людей не от вражеского огня, а на собственной работе. У него нет ни техники, ни времени, зато есть опыт, методика и умение видеть то, чего не видят другие.Он превращает работу сапёра из смертельной лотереи в точный расчёт.Немцы называют его Кротом.

© Громов Д., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Пролог 5
Пролог 10
Глава 1 16
Глава 2 27
Глава 3 37
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Денис Громов
Сапер. Люди времени

Пролог

Гауптман Эрих Хальм узнал, что его опознали, за одиннадцать дней до того, как за ним пришли.

Он это понял по хлебу, и понял в тот же день, когда его выдали.

В лагере номер сто шестьдесят восемь под Минском содержалось около четырёх тысяч человек, и хлеб выдавали по норме, зависящей от выработки. Хальм работал на кирпичном заводе, вырабатывал восемьдесят процентов и получал соответственно.

А четырнадцатого октября сорок шестого года ему выдали норму первой категории.

Он не стал спрашивать почему.

Он взял хлеб, съел его — не сразу, а как ел всегда: отламывая по куску и подолгу пережёвывая, потому что так дольше держит, — и весь день просидел на своих нарах, соображая.

Норму первой категории в этом лагере получали двадцать два человека: врачи, переводчики и трое инженеров, работавших при управлении лагеря на восстановлении котельной.

Хальм не был ни врачом, ни переводчиком.

А инженером его тут никто не считал, потому что в учётной карточке у него стояло: «унтер-офицер сапёрных частей».

Он записался так в апреле сорок пятого, на пятый день плена, когда понял, что офицеров и специалистов отделяют и увозят отдельно.

Он тогда посчитал.

Расчёт был простой и оказался верным: офицера будут допрашивать, а унтер-офицера — кормить и посылать на работы. Первое кончается непредсказуемо. Второе — предсказуемо и, при известной осторожности, не смертельно.

Восемнадцать месяцев расчёт держался.

Хальм таскал кирпич, чинил печи для обжига, дважды переболел и не умер, выучил около тысячи русских слов и научился их произносить так, чтобы его понимали с первого раза.

А теперь ему дали первую категорию.

Значит, кто-то в управлении лагеря знал, что он инженер.

Значит, кто-то сказал.

За ним пришли двадцать пятого октября, утром, до развода.

Пришли двое: русский лейтенант и переводчик из своих же пленных, немец из Гамбурга по фамилии Ленц, работавший при канцелярии.

— Хальм Эрих? — уточнил лейтенант.

— Так точно, это я.

— Собирайтесь с вещами.

Вещей у него было немного: котелок, ложка, обмотанная тряпкой книжка без обложки — русско-немецкий словарь, выменянный в сорок пятом за три пайки хлеба, по которому он выучил всё, что знал, и деревянный гребень, вырезанный им самим из доски от ящика.

Он собрался за минуту.

Соседи по нарам глядели молча.

За восемнадцать месяцев в этом бараке Хальм не сошёлся ни с кем, и не потому, что был высокомерен, а потому, что не видел смысла: в лагере люди сходились по землячествам, а он был из Вюрцбурга и земляков тут не имел.

Один только старик из Бреслау, спавший через двоих, приподнялся на локте.

— Эрих. Тебе что-нибудь оставить?

— Ничего не надо.

— Хлеб?

Хальм подумал.

Хлеб он получал первой категории уже одиннадцать дней и за эти дни впервые за полтора года перестал думать о еде постоянно.

— Хлеб раздайте, — ответил он.

Ленц, шедший рядом, покосился на него в коридоре — быстро, искоса, как глядят на человека, которого через час, возможно, уже не будет.

— Хальм, ты знаешь, за что тебя?

— Знаю, за что.

— И что теперь с тобой будет?

Хальм подумал.

— Теперь будет работа, — спокойно ответил он.

***

Первый допрос был двадцать шестого.

Допрашивал майор — немолодой, усталый, с пожелтевшими от табака пальцами, — и допрашивал через Ленца, потому что не верил, что пленный говорит по-русски.

— Фамилия, имя, звание, часть, — потребовал он.

— Хальм Эрих. Гауптман. Отдельная инженерная команда при штабе группы армий.

Майор поднял голову.

— В карточке у вас унтер-офицер, — поднял голову майор.

— В карточке ошибка, — не стал скрывать Хальм. — Я её сделал сам, в апреле сорок пятого.

Ленц перевёл и поглядел на него с ужасом.

Майор отложил карандаш.

— Вы понимаете, что вы сейчас признались в даче ложных сведений?

— Понимаю.

— И зачем признались?

Хальм подумал, как это сказать по-русски, и решил сказать проще, чем думал.

— Потому что теперь ложь мне не нужна, — ответил он. — Теперь нужна правда. Она полезнее.

Допрашивали его шесть раз за три недели.

Он отвечал охотно, подробно и без пауз. Про организацию работ, про подчинение, про то, как отбирали исполнителей и чему их учили.

Он не назвал ни одной фамилии сослуживцев, и это заметили.

— Хальм, вы фамилий не помните?

— Помню все.

— А почему не называете?

— Потому что вы не спрашиваете, — ответил он. — Вы спрашиваете про порядок работ. Я отвечаю про порядок работ.

Майор побарабанил по столу.

— Хорошо, спрашиваю, — уступил майор. — Кто работал с вами?

И вот тут Хальм в первый раз за шесть допросов помолчал дольше секунды.

— Со мной работали одиннадцать человек, — выговорил он наконец. — За два года. Девять из них были солдаты, которых мне давали на неделю или две. Я их фамилий не запоминал, потому что они менялись.

— А что за двое?

— Двое были мои.

Он поглядел на майора.

— Один погиб в феврале сорок пятого при разгрузке. Его фамилия Кёниг, ефрейтор, из Дрездена.

— А второй где?

— Второй жив, — обронил Хальм. — И я его фамилию не назову.

Ленц перевёл и добавил от себя что-то по-немецки, быстро и тихо.

Хальм поглядел на него.

— Не надо этого, — велел он по-русски. — Переводи, что я говорю. Больше ничего.

Майор откинулся на стуле.

— Хальм, вы понимаете своё положение?

— Понимаю его хорошо.

— И всё-таки не назовёте?

— Не назову, — подтвердил он.

Он положил руки на колени.

— Господин майор, я объясню, а вы решите, — предложил он. — Этот человек не ставил. Он только помогал: копал, носил, крепил. Он был у меня три месяца, и ему тогда было девятнадцать лет.

— Это не имеет значения.

— Для меня имеет, — не уступил Хальм.

Майор долго на него глядел.

— А остальное вы говорите охотно, — заметил майор.

— Остальное — моё, — отозвался Хальм.

***

Третий допрос был четвёртым по счёту в ноябре, и на нём Хальм задал свой единственный вопрос.

Задал он его в конце, когда протокол уже подписали.

Он поднялся, оправил бушлат и обронил:

— Господин майор, разрешите вопрос, — окликнул он.

Майор удивился.

— Спрашивайте, если коротко.

Хальм подбирал слова секунд пять.

— В марте сорок третьего года я оставил надпись, — выговорил он. — На объекте. Углём, на кирпиче.

— Знаю, — ответил майор. — Есть в деле.

— Её прочли тогда.

— Прочли, было такое.

Хальм поглядел на него.

— Господин майор, я хочу знать, — выговорил он. — Тот человек, который её прочёл. Он жив?

В комнате стало тихо.

Ленц перевёл вопрос дважды, потому что майор попросил повторить.

— Хальм, а зачем вам это знать?

Он подумал.

И ответил то, что думал на самом деле, потому что за восемнадцать месяцев отвык врать по мелочам.

— Затем, что я его знаю лучше, чем кого-нибудь другого, — ответил он. — И ни разу не видел.

Майор поглядел на него.

— Вы его как называете? — уточнил майор.

Хальм помолчал.

— Der Maulwurf, — выговорил он наконец. — По-русски крот.

***

После допроса его вернули не в барак, а в отдельное помещение при канцелярии: комната три на четыре, нары, стол и печка, которую топили.

И дали бумагу.

Двадцать листов и карандаш, с обязательством сдавать всё исписанное.

Хальм сел за стол вечером двадцать первого ноября и просидел до отбоя, не написав ни строчки.

Он не знал, с чего начать.

За два года он поставил, по своему счёту, около четырёхсот зарядов на ста семнадцати объектах в шести областях.

Из них он помнил точно — с привязкой, с расстоянием и с описанием — примерно шестьдесят объектов.

Ещё сорок помнил приблизительно: область, район, характер объекта, но не место.

А семнадцать не помнил вовсе.

Вот эти семнадцать его и держали.

Он сидел за столом в тёплой комнате при канцелярии лагеря номер сто шестьдесят восемь, и перед ним лежало двадцать листов чистой бумаги, и он в первый раз за войну испугался по-настоящему.

Не расстрела и не лагеря.

Он испугался того, что семнадцать объектов, которые он поставил своими руками, лежат в земле, и он единственный человек на свете, который мог бы сказать где, — и не может.

Хальм взял карандаш и написал вверху первого листа одну строчку.

По-русски, печатными буквами, потому что так его точно поймут.

«СПИСОК ОБЪЕКТОВ. НАЧИНАЮ С ТЕХ, КОТОРЫЕ ПОМНЮ ТОЧНО».

И стал вспоминать.

Вспоминал он не так, как вспоминают обычно.

Он не пытался перебирать объекты по порядку — этого порядка не существовало, потому что за два года его перебрасывали с участка на участок без всякой системы.

Он вспоминал по дорогам.

Всякий объект был привязан к дороге, по которой он к нему приехал, и всякая дорога начиналась от места, где стояла машина.

Штайнер, его водитель с сорок первого года, возил его на одном и том же «кюбельвагене» и всегда останавливался одинаково: не у самого объекта, а метрах в двухстах, за укрытием.

Значит, надо вспомнить, где стояла машина.

Хальм закрыл глаза и стал вспоминать не мосты и не погреба, а обочины.

К третьему вечеру у него было двадцать объектов.

К седьмому — сорок один.

На девятый вечер к нему пришли.

Пришёл тот же майор, сел на табурет и минут пять читал написанное, не говоря ни слова.

— Хальм, вы это сами придумали? — не поверил он.

— Что именно, господин майор?

— Вот это, — майор постучал по листу. — Вы пишете тут: «привязка от места стоянки автомобиля». Я такого способа не встречал.

— Я тоже не встречал, — подтвердил Хальм. — Я его придумал в этой комнате.

Майор поглядел на него.

— Зачем?

— Затем, что иначе не вспомнить, — пояснил он.

Он показал на свои листы.

— Господин майор, у меня сто семнадцать объектов. Если я буду вспоминать по датам, я перепутаю. Если по областям — тоже. Я в этих областях бывал по два и по три раза.

— А по дорогам не перепутаете?

— Не перепутаю, — подтвердил Хальм. — Дорога одна. По ней я ехал один раз в одну сторону.

Майор дочитал последний лист и сложил стопку.

— Хальм, я должен вам сказать одну вещь.

— Слушаю, господин майор.

— Ваши сведения будут проверять, — предупредил он.

— Разумеется.

— И если хоть один объект не подтвердится…

Хальм не дал ему договорить — единственный раз за всё время.

— Господин майор, все объекты подтвердятся, — произнес он. — Кроме тех, которые уже вскрыты, и тех, которых я не помню.

Он поглядел на майора.

— Я не буду выдумывать. Мне это невыгодно.

Майор поднялся.

— Пишите дальше, — велел он.

Он дошёл до двери и обернулся.

— Хальм, а сколько всего вы помните?

Хальм подумал.

— Точно — около шестидесяти. Приблизительно — ещё сорок.

— А остальные?

И вот тут, прежде чем ответить, он задумался.

— А остальные семнадцать я не помню, — честно ответил Хальм. — И это, господин майор, единственное, что меня в моём положении беспокоит.

Третья книга будет заключительной. Если вам нравится, то еще разок попрошу и больше не буду. Подпишитесь, если не трудно. Это пара секунд. Еще пара, отписаться, если мои книги перестанут вам нравится.

Пролог

Вызов пришёл девятнадцатого января сорок седьмого года.

Не письмом и не по телефону — телефона в районном совете Осоавиахима не было вовсе, а бумагой через областной совет, с курьером.

Я её прочитал стоя.

«Тов. Ковалёву П. Н., инструктору Орловского районного совета.

Предлагается прибыть к 1 февраля с. г. в распоряжение инженерного управления для участия в работе группы по сбору сведений от военнопленных инженерных специальностей.

Срок командировки — до особого распоряжения.

Основание: запрос инженерного управления от 14.11.46 г.»

«До особого распоряжения» — эти три слова означали, что я не вернусь.

Я это понял сразу, потому что за три года выучил язык казённых бумаг лучше, чем хотел бы.

Ткаченко прочитал через моё плечо.

— Товарищ младший лейтенант, а как же группа?

— Примешь ты, больше некому.

— Это я-то приму? — он даже отступил.

— Ты и примешь, — подтвердил я. — Шестьдесят четыре человека, три поля и журнал. Ты это уже год ведёшь, только под моей фамилией.

Он молчал.

— Ткаченко, я тебе честно скажу, — произнес я. — Тебя не утвердят инструктором. Ты не офицер и без образования.

— Знаю я это.

— Значит, будешь работать без должности, покамест я не выбью.

Он подумал.

— А выбьете, товарищ младший лейтенант?

— Не знаю, — не стал я обманывать. — Постараюсь.

Он поглядел на мою бумагу.

— Товарищ младший лейтенант, а вы куда едете-то?

Вот на этот вопрос я не мог ответить.

Не потому, что не знал — я как раз знал, а потому, что сказать это вслух означало объяснить всё остальное: про хутор, про надпись углём, про три с половиной года и про две тетради, из которых одна была озаглавлена его именем.

— Работать с пленными, — отозвался я. — Собирать, где они чего поставили.

— Это надолго вас?

— До особого распоряжения.

Ткаченко кивнул.

— Ага, — подытожил он. — Значит, насовсем.

***

Собирался я два дня.

Вещей за год в Орле у меня набралось немного: смена белья, бритва, три тетради, книжечка Верещака в клеёнке, журнал Ткаченко с тысячей восемьюстами сорока семью, справочник для поступающих, который дал мне Гольцман, и латунный напёрсток Гладышева.

И сто восемь листов моего дела, которые я так и не сжёг.

Вот с ними я провозился дольше всего.

Я их перечитал — весь вечер, лист за листом, — и прочитал про себя вещи, которых не знал.

Донесение сержанта Гурьева от двадцатого июля сорок третьего года: «…по существу заданных вопросов сообщаю, что кр-ц Ковалёв в работе аккуратен, спешки не допускает, чем вызывает недовольство отдельных бойцов…»

Объяснительная старшины Панкратова от девятого августа: «…откуда он это знает, мне неизвестно и я не спрашивал. Считаю, что человек, который умеет работать, имеет право не объяснять…»

Рапорт лейтенанта Бабичева от пятнадцатого июля: «…прошу представить к правительственной награде…»

И справка из елецкого горвоенкомата с приложенной характеристикой из школы.

«Мальчик тихий, старательный, но к учению малоспособен. Особенно слаб по арифметике».

Я сидел над этой строчкой дольше, чем над всеми остальными.

Потому что мальчик, которому она была написана, погиб четырнадцатого июня сорок третьего года под Понырями, во время получасового обстрела, и никто в мире, кроме меня, про это не знал.

А я три с половиной года жил его жизнью, писал письма его матери и сестре, получил за него медаль и звание, и на всех бумагах стояла его фамилия.

И вот теперь я держал в руках всё, что от него осталось: восемь строчек из школы и справку военкомата.

Я не сжёг их и в этот раз.

Я сложил эти сто восемь листов в клеёнку, перевязал шпагатом и убрал на самое дно вещмешка, под всё остальное.

***

Двадцать шестого я поехал прощаться с группой.

Не со всеми — шестьдесят четыре человека собрать было невозможно, — а с теми, кто работал постоянно: с Поляковой, Ерёменко, Никитой Фомичом и двумя подростками.

Собрались в том же холодном бараке, где я в январе сорок шестого провёл первое занятие и где через сорок минут спали трое.

Я объяснил, куда еду и почему.

Не всё — про Хальма я не сказал ни слова, но про то, что буду работать с пленными и собирать сведения об объектах.

Полякова выслушала и подняла руку, как на уроке.

— Пётр Никифорович, а можно вопрос неудобный?

— Спрашивайте, чего уж.

— Вы с ними разговаривать будете?

— Буду разговаривать.

— С теми самыми, кто это ставил?

Я поглядел на неё.

— С теми самыми.

В бараке стало тихо.

— И как же вы будете? — не выдержал Ерёменко.

— Не знаю, — ответил я честно. — Я про это третий день думаю и ответа не нашёл.

Никита Фомич завозился и застучал палками.

— А чего тут думать-то, — произнес он.

Все обернулись.

— Никита Фомич, а вы бы смогли? — не выдержала Полякова.

Он поглядел на меня.

— Я, сынок, шестьдесят второй год живу, — ответил он. — У меня в деревне Митрохина без ноги и мальчонка Пелагеин в земле.

Он помолчал.

— А ты меня спрашиваешь, смог бы я с ним разговаривать.

— Спрашиваю, Никита Фомич.

— Смог бы, — он тяжело вздохнул. — Ежели он мне скажет, где остальное лежит.

Он постучал палкой в пол.

— Я, сынок, с ним про мальчонку разговаривать не стал бы. Мне мальчонку не вернуть. А вот про то, где у него ещё чего припрятано, я с ним хоть год просижу.

Он поглядел на меня.

— И ты так делай. Не про то говори, чего было. А про то, чего лежит.

Я потом эту его фразу вспоминал каждый раз перед тем, как войти в ту комнату.

Все два года.

***

Выехал я двадцать восьмого января.

В Минск прибыл первого февраля, к вечеру, и в управлении меня принял человек, которого я не ждал совершенно.

Астахов.

Он к тому времени был уже полковником и год как служил тут, чего мне не писал ни разу.

— Ковалёв, садитесь.

— Здравия желаю, товарищ полковник.

— Тетради при вас?

Я поглядел на него.

— При мне, все три.

— Ну и хорошо, — кивнул он. — Они вам понадобятся.

Он придвинул ко мне папку.

— Читайте, — придвинул он папку. — Это он написал за ноябрь и декабрь.

Я развязал тесёмки.

Внутри лежало сто сорок с чем-то листов, исписанных мелким ровным почерком.

По-русски.

Печатными буквами, без единой помарки, с нумерацией и с чертежами на полях — аккуратными, выполненными от руки, с проставленными размерами.

Я перевернул первый лист.

«ОБЪЕКТ 1. Мост через реку [название по-немецки, транскрипция], Орловская область, район не помню точно. Сентябрь 1943.

Три заряда в опорах. Взрыватели химические, срок шесть месяцев. Заряды сняты мною лично в октябре 1943 по приказу.

Причина снятия: изменение планов командования.

Объект считаю безопасным».

Я поднял голову.

— Товарищ полковник, это тот самый мост, — выговорил я.

— Какой такой мост?

— Который я смотрел в феврале сорок шестого, — ответил я. — Под Орлом. Там были три гнезда, пустые, и третье вырублено грубее.

Астахов кивнул.

— Читайте дальше, — велел он.

Прежде чем читать, я задал Астахову вопрос, который держал в голове от самого Орла.

— Товарищ полковник, а как его взяли?

— В апреле сорок пятого, в Восточной Пруссии, — ответил он. — Обыкновенно: колонна отходила, попала под удар, он оказался в числе тех, кого собрали на дороге.

— И восемнадцать месяцев не выявляли?

— Не выявляли, — подтвердил Астахов. — Он записался унтер-офицером и работал на кирпичном.

Я поглядел на него.

— Товарищ полковник, а если бы его не опознали?

— Тогда бы он через год-два уехал домой по репатриации, — ответил Астахов. — И сто семнадцать объектов остались бы в земле навсегда.

Он придвинул мне папку.

— Вот вам и цена одного опознания.

— А кто опознал?

— Другой пленный, — он поглядел в бумаги. — Обер-фельдфебель из той же группы армий. Он Хальма видел дважды в сорок третьем и запомнил, потому что тот приезжал и всех строил.

Астахов усмехнулся.

— Обычная история. Человека выдало не то, что он делал, а то, что его не любили.

Я прочитал сто сорок листов за четыре часа.

К концу у меня дрожали руки.

Не от волнения — от того, что я держал в руках ответ на всё, что собирал три с половиной года: точные привязки, размеры, сроки, схемы креплений, объяснения, зачем каждый заряд поставлен именно там.

И на восемьдесят первом листе я нашёл хутор.

«ОБЪЕКТ 44. Хутор без названия, Орловская область, дорога через населённый пункт. Март 1943.

Погреб кирпичный под полотном дороги, длина 15 шагов. Заряд основной — весь объём погреба. Механизм нажимной, расчёт на осевую нагрузку свыше 2 тонн.

По обочинам 16 зарядов противопехотных, из них 9 на растяжках. Каждый четвёртый поставлен зеркально.

Отдельно: 1 заряд между двумя телами русских сапёров, погибших ранее. Расчёт на группу выноса.

Объект вскрыт русскими в июне 1943. Считаю потерянным».

Я поглядел на эту страницу.

«Считаю потерянным».

Ни слова о том, что он потратил на этот хутор девять дней. Ни слова про семерых погибших. Ни слова про надпись углём на своде.

Просто инженерный отчёт по объекту, который не сработал.

— Товарищ полковник.

— Слушаю.

— Он про надписи не пишет.

— Не пишет ни строчки, — подтвердил Астахов. — Ни про одну. Я специально проверял.

— А почему не пишет?

Он поглядел на меня.

— А вот это, Ковалёв, вы у него сами и спросите.

Он забрал папку.

— Завтра в девять вас отвезут в лагерь, — распорядился он. — Вы будете работать с ним ежедневно, кроме воскресений, по четыре часа.

— В каком качестве, товарищ полковник? — уточнил я.

— Официально — консультант группы, — ответил Астахов. — А по существу — вы единственный человек в управлении, который понимает, о чём он пишет.

Он застегнул папку и поглядел на меня поверх неё.

— И вот вам последнее, Ковалёв, а дальше решайте сами.

— Слушаю вас.

— Он не знает, кто к нему придёт, — обронил Астахов. — Ему сказали только, что будет специалист.

Он помолчал.

— Так что у вас есть выбор. Вы можете назваться консультантом управления и работать с ним три года, и он никогда не узнает.

— А какой второй вариант?

— А второй вы уже выбрали, — ответил он. — Я по вашему лицу вижу.

***

Ночевал я в общежитии управления, в комнате на четверых, и не спал ни минуты.

Лежал, глядел в потолок и в сотый раз прокручивал то, что собирался сказать.

За три с половиной года у меня накопилось к этому человеку столько вопросов, что я их однажды выписал в тетрадь и сбился на сороковом.

Зачем надписи. Почему каждая четвёртая зеркально. Как он выбирал места. Считал ли он людей. Знает ли, сколько погибло. Помнит ли хутор. Помнит ли Орёл.

И один вопрос, который я в тетрадь не записал, потому что стыдился.

Помнит ли он вообще, что у него был противник.

Потому что за три с половиной года я про него думал каждый день, а он про меня, скорее всего, не думал ни разу.

Он оставил три надписи не мне.

Он оставил их в пустоту — так, как человек пишет на стене, зная, что кто-нибудь когда-нибудь прочтёт, и не зная, кто именно и через сколько лет.

И то, что прочёл именно я, было чистой случайностью.

В четвёртом часу я встал и вышел на улицу.

Стояла ясная морозная ночь, над Минском висели звёзды, и город лежал разбитый — не так, как Орёл, а хуже: Минск разрушили почти целиком, и в сорок седьмом году он ещё стоял в руинах, среди которых жили люди.

Я стоял на крыльце и глядел на эти руины.

И думал не про Хальма.

Я думал про то, что где-то под этими развалинами, в подвалах, в котельных, в трубах и в дымоходах, лежит то, чего мы не нашли.

И что человек, который может сказать, где именно, сидит в двадцати километрах отсюда, в комнате при канцелярии лагеря номер сто шестьдесят восемь, и пишет по-русски печатными буквами.

***

Утром за мной пришла машина.

Полуторка с брезентовым верхом, водитель молодой, лет двадцати, и всю дорогу он молчал, а на середине вдруг спросил:

— Товарищ младший лейтенант, а вы к немцам едете?

— К ним самым.

— А правда, что они там сами всё рассказывают?

— Правда, рассказывают.

Он покрутил головой.

— Дык чего им рассказывать-то? Их за это не помилуют.

Я поглядел на него.

— А вы бы на его месте молчали?

Он подумал.

— Дык я не знаю, — ответил он. — Я, товарищ младший лейтенант, войну не застал. Меня в сорок пятом призвали, в мае. Я как раз до эшелона доехал, а тут и кончилось.

Он поглядел на дорогу.

— Мне теперь всё время неловко, — прибавил он. — Все воевали, а я нет.

Мы проехали километра три молча.

— А сколько вам лет? — окликнул я водителя.

— Двадцать мне.

— Значит, в сорок первом было четырнадцать.

— Четырнадцать и было.

— И вы тут были, в оккупации?

Он помолчал.

— Был, а куда деваться.

— Три года?

— Три года и месяц.

Он переключил передачу.

— У меня отца в сорок втором свезли, — произнес он. — И мы с матерью три года.

Я поглядел на этого парня, которому было неловко, что он не воевал.

— Слушайте сюда, — произнес я. — Тот, к кому мы едем, три года ставил мины по деревням. Ставил так, чтоб они срабатывали через полгода, когда наши уйдут вперёд.

Он повернул голову.

— Зачем?

— Затем, чтоб на них подорвались те, кто вернётся домой.

Он молчал.

— Вот вы и были тем, кто вернётся, — договорил я. — И мать ваша. Так что считай, что воевали. Просто вам про это никто не сказал.

Он ничего не ответил.

А на въезде в лагерь, когда мы уже стояли у ворот и ждали, покамест поднимут шлагбаум, он вдруг обронил:

— Товарищ младший лейтенант.

— Что?

— Вы у него спросите одну вещь.

Я поглядел на него.

— Спрашивайте.

— Спросите, — выговорил он, глядя перед собой. — Он про нас думал вообще? Про тех, кто вернётся.

Шлагбаум поднялся, и полуторка тронулась.

Я записал этот вопрос в тетрадь и задал его Хальму через полтора года.

Ответ его я приведу в своё время.

Скажу только, что за все два года работы с ним это был единственный раз, когда он попросил меня повторить вопрос дважды.

Глава 1

Лагерь номер сто шестьдесят восемь стоял в двенадцати километрах от Минска, на месте бывшего торфоразработочного посёлка, и первое, что я про него понял, — он был построен аккуратно.

Не хорошо. Аккуратно.

Ряды бараков стояли по линейке, дорожки между ними были отсыпаны шлаком, у каждого барака торчала жердь с номером, и номера были выведены одной рукой, одним трафаретом, белым по чёрному. За полтора года пленные вылизали эту территорию так, как не вылизывали ни один гарнизон, где мне приходилось стоять.

Люди, которые всю жизнь всё делали по норме, и в плену продолжали делать по норме.

Меня довели до канцелярии, проверили предписание два раза — на воротах и на крыльце, — и дежурный лейтенант с нашивкой конвойных войск повёл меня по коридору.

— Товарищ младший лейтенант, инструкцию вам зачитывать?

— Зачитайте, если положено, — отозвался я.

Он остановился у двери.

— Положено. Один: в помещении с ним не оставлять ничего колющего и режущего. Два: бумагу выносить всю, включая черновики. Три: на личные темы не переходить.

— На личные темы — это как понимать? — не понял я.

Лейтенант поглядел на меня без всякого выражения.

— Это понимать так, что он вам про Германию, а вы ему про Советский Союз. Обоюдно не рекомендуется.

Он отпер дверь.

Комната была три на четыре.

Нары у левой стены, застеленные по-солдатски. Печка в углу, топленая. Стол у окна — обыкновенный канцелярский с двумя тумбами, явно принесённый из управления лагеря. Две табуретки.

И бумага.

Она лежала стопками по всему столу: исписанные листы слева, чистые справа, посередине разложенные чертежи. Стопка слева была толщиной сантиметров в шесть, и её края были подбиты так ровно, будто её обрезали на резаке.

Я вошёл в девять двадцать.

Он сидел за столом спиной к двери и не обернулся.

Не из невежливости — он не услышал, потому что писал, и писал, судя по всему, давно: правая рука была в чернилах до второй фаланги, хотя писал он карандашом.

Сопровождающий сержант кашлянул.

— Хальм. К вам.

Он положил карандаш, аккуратно, вдоль края листа.

И поднялся.

Я его увидел в первый раз в жизни.

Мне сорок один год — так было записано у него в карточке, и на вид ему было именно сорок один, ни больше ни меньше, что в лагере встречается редко.

Худой. Очень прямой. Лицо узкое, с длинным подбородком, и глубокие складки от носа к углам рта. Волосы седые на висках и коротко остриженные. Руки крупные, с широкими ладонями — руки человека, который всю жизнь что-то делал руками, а не только чертил.

И очки.

В простой железной оправе, дужка примотана ниткой.

Я на эту дужку поглядел и почувствовал что-то очень нехорошее, потому что ровно такие очки были у Северцева в июле сорок третьего.

— Гауптман Хальм, — представился он.

Голос оказался ниже, чем я ждал, и говорил он медленно, тщательно выговаривая окончания.

— Младший лейтенант Ковалёв, инженерное управление.

Он кивнул.

И тут же, без всякого перехода, сел обратно и придвинул ко мне лист.

— Товарищ младший лейтенант, я имею вопрос. Он срочный.

Вот так это и началось.

Ни здравствуйте, ни разглядывания, ни того напряжения, которого я ждал три с половиной года.

Человек, которого я искал две войны, увидел специалиста и немедленно перешёл к делу.

— Слушаю ваш вопрос, если он срочный.

Он показал на лист.

— Объект восемьдесят три. Водокачка при станции, Гомельская область. Я поставил там два заряда в декабре сорок третьего.

— Оба описали или один? — уточнил я.

— Один я описал точно. Второй я помню, но не помню место.

Он поглядел на меня.

— Я имею предположение. Оно требует проверки, но я не могу проверить, потому что не выхожу отсюда.

— Какое у вас предположение? — поинтересовался я.

Хальм положил ладонь на чертёж.

— Я всегда ставил второй заряд там, где будет стоять человек, который нашёл первый.

Я поглядел на него.

Он это выговорил спокойно, буднично, тем самым тоном, каким на совещаниях докладывают о нормах расхода горючего.

— Поясните мне это подробнее, — попросил я.

— Это просто, — он взял карандаш. — Человек находит первый заряд. Он его снимает. После этого он встаёт и делает два или три шага назад.

Он нарисовал на чертеже кружок.

— Он отходит, чтобы поглядеть. Всегда. Это не решение, это движение тела.

Он поставил крестик.

— И там я ставил второй.

Я стоял у стола и держался за спинку табурета.

Потому что он только что описал мне то, что я понял на хуторе в июне сорок третьего и записал в тетрадь через полгода.

Только я это понял, разбирая его работу.

А он это придумал.

— Товарищ младший лейтенант, вы сядьте, — он отодвинул чернильницу к краю. — Стоя неудобно смотреть чертёж.

Я сел.

Мы проработали до часу дня.

За четыре часа я не задал ему ни одного вопроса из тех сорока, которые накопил за три с половиной года.

Мы разбирали объекты.

Он рассказывал, я записывал и уточнял, и уже через час я поймал себя на том, что работаю с ним так же, как работал с Северцевым или с Гольцманом.

То есть как с коллегой.

Это было отвратительно, и я ничего не мог с этим сделать.

Потому что человек напротив меня знал своё дело лучше всех, кого я встречал за обе жизни, — и он говорил именно про дело, и его надо было слушать.

Работал он по определённому порядку, и порядок этот я разглядел к третьему объекту.

Сперва он вспоминал дорогу. Не объект, а дорогу к нему: откуда ехали, где стояла машина, сколько шли пешком и что было по сторонам. Потом от машины он шёл к зданию — вслух, шагами, будто снова его проходил. И только дойдя, начинал говорить про заряд.

На объекте восемьдесят четыре он застрял.

— Здесь я имею разрыв, — он постучал карандашом по листу. — Я помню дом и помню подвал. Дороги не помню.

— Тогда зайдём с другой стороны. Что вы видели из окна подвала?

Хальм поднял голову.

— Подвал не имеет окна.

— А отдушину?

Он молчал секунд десять.

— Отдушина имеется, — выговорил он. — Она выходит на север, и в неё видно кирпичную стену в семи метрах.

— Что за стена?

— Глухая. Без окон. Высокая.

Я придвинул к себе карту Гомельской области, которую привёз из управления.

— Тогда это не жилой дом напротив. Глухая высокая стена без окон в семи метрах — это или склад, или элеватор, или церковь с забелённой стороной.

Хальм снял очки.

И надел обратно.

— Элеватор, — он взял карандаш. — Я помню запах. В подвале пахло зерном, которое лежало и грелось.

Он записал строку и подчеркнул её дважды.

— Товарищ младший лейтенант, это мне даёт ещё три объекта. Они все стояли у элеваторов, и я их путал между собой.

Вот так это и пошло.

Он помнил конструкцию, но плохо помнил географию. Я географию не помнил вовсе — зато знал, как разговаривать с человеком, который что-то помнит, но не знает, что именно.

Через два часа выяснилось, что мы, если говорить честно, работали в паре.

***

В час дня сержант принёс обед.

Хальм отодвинул бумаги, освободив половину стола, и придвинул ко мне свою миску.

— Товарищ младший лейтенант, вы будете со мной обедать?

— У меня свой паёк, ешьте спокойно.

— Тогда я буду один, — он взял ложку и стал есть.

Ел он так же, как работал: не спеша, полностью, не оставляя ничего.

И вот тут я задал первый вопрос не по делу.

— Хальм, вы русский где выучили?

Он положил ложку.

— Я выучил его здесь, в этом лагере.

— За полтора года, что ли?

— За семнадцать месяцев, — уточнил он. — Я имел словарь и имел время.

Он подумал.

— Время в лагере — это единственное, чего много.

— Зачем вам было его учить?

Он поглядел на меня.

И я в первый раз увидел, что он умеет делать паузу не потому, что подбирает слово.

— Я вам это объясню, — выговорил он наконец. — Но не сегодня.

Он взял ложку обратно.

— Сегодня мы имеем объект восемьдесят три и объект восемьдесят четыре. Их надо закончить.

***

Работали мы так шесть дней.

Каждое утро я приезжал в девять, каждый день мы разбирали от двух до пяти объектов, и каждый день я не задавал ни одного личного вопроса, потому что он их не задавал тоже.

Жил я эти шесть дней в Минске, в общежитии управления на Советской, в комнате на четверых, из которых трое были в командировках. Возвращался в восьмом часу, грел чайник, садился и переписывал набело всё, что записал за день.

К пятому дню я стал замечать за собой странное.

Я ждал утра.

Не потому, что мне было приятно туда ехать. А потому, что мы не закончили объект семьдесят девять, и я весь вечер думал, как его додавить, и придумал, и хотел проверить.

Это и есть самое поганое, что бывает с человеком.

Ты можешь ненавидеть кого угодно и сколько угодно. Но если вы вдвоём стоите над задачей и задача не выходит, то через неделю у вас на двоих будет общее дело, хочешь ты этого или нет.

На пятый вечер в комнату вернулся хозяин третьей койки.

Старший лейтенант Дорохов, сапёр, тридцати двух лет, приехал из Молодечно с чемоданом и мокрой шинелью и первым делом развесил её над печкой так, чтобы она заняла всю печку.

— Ты кто такой будешь? — окликнул он.

— Ковалёв, инженерное управление, в командировке, — отозвался я.

— Надолго? — он выкрутил портянки прямо на пол.

— Как выйдет. Месяца на четыре.

Дорохов поглядел на мой стол, заваленный листами, и подошёл ближе.

Читать чужие бумаги в управлении не принято, но он и не читал — он поглядел на верхний лист и увидел то, что видно с двух шагов.

Немецкий почерк.

— Это откуда? — не понял он.

— Из-под Минска, — отозвался я. — Работаю с пленным по разминированию.

Он сел на свою койку и стал разуваться.

— С каким пленным? — переспросил Дорохов.

— Инженер. Ставил объекты с сорок первого по сорок четвёртый, помнит сто семнадцать штук.

Дорохов поставил сапог.

И поставил второй.

— Ковалёв, а ты сам-то воевал или в управлении всю дорогу просидел?

— Воевал, с сорок третьего, — подтвердил я.

— Где?

— Центральный, потом Первый Белорусский, — я отложил перо. — Сапёрный батальон, потом инженерный отдел армии.

Он покивал.

— Значит, воевал, — подытожил он. — Тогда я не пойму. У меня в сорок четвёртом под Слонимом взвод на его железках лёг. Девять человек. И ты мне говоришь, что сидишь с таким в одной комнате и записываешь за ним чертежи.

— Сижу и записываю, — не стал я спорить.

— И как оно тебе? — поинтересовался он.

Я подумал, сколько правды ему сказать.

И сказал всю.

— Отвратительно, — признал я. — Он знает своё дело лучше меня. Он мне за шесть дней дал то, до чего наши группы шли бы три года и легли бы на этом человек сорок.

Дорохов молчал.

— Дорохов, ты слушай дальше, — продолжил я. — Я не про то, хороший он или плохой. Он не хороший. Я про то, что железки в земле лежат до сих пор, и они не знают, кто их ставил, и им всё равно, кто на них наступит.

— А ему не всё равно? — не понял Дорохов.

— Ему тоже всё равно, — я закрыл тетрадь. — Он не кается. Он уточняет.

Дорохов лёг и закинул руки за голову.

Минуты две мы молчали.

— Ковалёв, — окликнул он наконец из темноты. — Ты с ним поаккуратнее.

— В каком смысле поаккуратнее? — не понял я.

— В прямом, — он повернулся к стене. — Человек, который семнадцать месяцев учил русский язык в лагере, учил его не для того, чтобы тебе про скобы рассказывать.

Я потушил лампу.

И полночи лежал и думал, что он прав, и что я это понял в первый же день, и что делать с этим всё равно нечего.

***

За шесть дней мы закрыли двадцать один объект.

Закрыли — значит, довели описание до состояния, при котором по нему могла работать выездная группа: привязка к двум постоянным ориентирам, расстояния, характер зарядов, срок постановки и способ крепления.

Двадцать один объект за шесть дней.

Астахов, когда я привёз ему первую пачку, читал её вечер и на другой день вызвал меня.

— Ковалёв, вы понимаете, что это за темп?

— Понимаю, товарищ полковник, — подтвердил я.

— Уверены? — не принял он возражения. — Я в декабре ставил план: один объект в два дня. Вы делаете три с половиной в день.

Он постучал по стопке.

— Как вы это делаете?

Я подумал, как это объяснить.

— Он не рассказывает, товарищ полковник. Он докладывает.

— А разница в чём?

— Разница в том, что рассказывают по памяти, а докладывают по системе, — я показал на верхний лист. — У него всё разложено. Он два месяца сидел и раскладывал.

Астахов побарабанил по столу.

— Хорошо. А вы там что делаете?

— Я задаю вопросы, которые ему в голову не приходят.

— Приведите пример, — потребовал он.

Я вытянул из стопки нужный лист.

— Вот, объект семьдесят четвёртый. Он описал заряд под настилом моста. Я спросил: а чем крепили? Он ответил: скобами. Я спросил: сколько скоб?

— И что он на это? — не понял Астахов.

— Четыре скобы, — я поглядел на Астахова. — Всегда четыре. Это норматив, которому его учили в тридцать девятом.

— И дальше?

— А дальше вот что, товарищ полковник. Теперь наши выездные группы знают, что искать четыре скобы. И если они нашли три — значит, четвёртая где-то есть, и заряд там не один.

Он поглядел на меня.

— Он вам это сам сказал? — переспросил он.

— Он мне этого не говорил, — поправил я. — Он сказал «скобами». Про четыре я спросил.

Астахов долго молчал.

Потом встал, прошёл к сейфу, отпер его и достал синюю папку — не ту, в которой лежала моя переписка, а другую, потоньше.

— Ковалёв, вот теперь я понимаю, зачем вас сюда вызвали.

Он положил папку на стол, но не открыл.

— И раз понимаю, то скажу одну вещь заранее. Вы там не в гостях. Вы с ним работаете, пока он даёт объекты. Как только кончатся объекты — работа кончится тоже, и его повезут дальше, и не ко мне.

— Куда дальше? — насторожился я.

— Туда, где решают не сапёры, — он запер сейф. — Идите, у вас поезд в шесть сорок.

***

На седьмой день Хальм задал вопрос.

Мы кончили объект, я собирал бумаги, и он вдруг обронил, не поднимая головы:

— Товарищ младший лейтенант, вы работали в поле?

Я замер.

— Работал, и не месяц, — признал я.

— Долго это сколько? — уточнил он.

— Три года без малого.

Он поглядел на меня.

— Я примерно так и полагал.

— На каком основании? — не понял я.

— Потому что вы спрашиваете правильно, — он положил карандаш вдоль края листа. — Штабной офицер спрашивает: сколько, где, когда. Вы спрашиваете: чем крепили и сколько скоб.

Он снял очки и стал протирать их рукавом.

— Такие вопросы задаёт человек, который сам снимал.

Я сидел и молчал.

— На каком фронте вы были? — уточнил он.

Вот тут я мог соврать.

Я мог назвать любой фронт, любую армию и любой год, и он бы никогда не проверил.

— Центральный фронт, с июня сорок третьего.

Он надел очки.

И поглядел на меня очень внимательно.

— Это Курская дуга.

— Верно, — спокойно ответил я.

Он положил руки на стол.

— Тогда я имею к вам вопрос, и он не по объектам.

— Спрашивайте, раз он у вас есть, — разрешил я.

— Хутор, — выговорил он. — Орловская область, дорога через населённый пункт. Март сорок третьего года. Объект сорок четыре в моём списке.

Он поглядел на меня.

— Вы там были?

Я сидел напротив него, за канцелярским столом, в комнате три на четыре, и понимал, что сейчас всё решится.

И решил не врать.

За три с половиной года я наврал столько, что мне хватило бы на две жизни, — но это была ложь по необходимости, и я её нёс.

А тут необходимости не было.

— Я там был, — признал я.

Хальм не пошевелился.

— В каком месяце? — не отпустил он.

— В июне сорок третьего. Мы его вскрывали четверо суток.

— Кто вскрывал? — спросил он.

— Отделение старшины Панкратова. Четыре человека. Потом приехал капитан Северцев из инженерного отдела армии.

Он молчал.

— Вход был со двора третьей избы, — договорил я. — Заваленный обгорелым срубом. Мы его нашли по нижнему бревну — оно было пилено, а пожар пилой не работает.

И вот тут он снял очки.

Снял и положил на стол, и я в первый раз увидел его лицо без них.

Глаза оказались светлые, серые, с покрасневшими от письма веками.

— Три дня, — выговорил он.

— Что у вас три дня? — не понял я.

— Я это бревно пилил три дня. Не потому, что долго пилить. Потому что я искал, как положить его так, чтобы оно выглядело упавшим.

Он поглядел на свои руки.

— Я его перекладывал одиннадцать раз.

Мы сидели молча.

За окном шёл снег, в печке потрескивало, и за стеной, в канцелярии, кто-то стучал на машинке.

— Вы его всё-таки нашли, — подытожил Хальм.

— Нашли на четвёртые сутки, — подтвердил я.

— По спилу?

— По спилу, гауптман.

Он покивал — медленно, несколько раз, как кивают собственным мыслям.

— Значит, я его положил неправильно, — заключил он.

И вот на этой фразе меня накрыло по-настоящему.

Потому что он не сказал «значит, вы были внимательны». Он не сказал «значит, мне не повезло».

Он сказал: значит, я сделал плохо.

Через одиннадцать перекладываний, через четыре года, через плен и через сто семнадцать объектов — он всё ещё считал это своей профессиональной ошибкой.

— Хальм, я вас спрошу теперь, — начал я.

— Слушаю вас.

— Вы понимаете, что было в том погребе?

— Понимаю совершенно точно, — подтвердил он. — Пятнадцать шагов дороги и весь объём. Расчёт на артиллерийскую колонну.

— Сто восемнадцатый гаубичный полк, — сообщил я. — Он должен был пройти первого июля.

Хальм поглядел на меня.

— И он прошёл? — не отпустил он.

— Прошёл, — подтвердил я. — Второго числа, после того как мы разгрузили погреб.

Он молчал.

— Хальм, а сколько бы там погибло?

Он ответил не сразу.

И ответил не так, как я ждал.

— Я не считал в людях, — он выровнял стопку листов. — Я считал в тоннах и в метрах.

Он надел очки.

— Товарищ младший лейтенант, я вам объясню, и вы решите, верить или нет.

— Объясняйте, я слушаю, — согласился я.

— Я инженер, — выговорил он. — Я строил мосты одиннадцать лет, с тридцатого по сорок первый. Потом меня призвали и приказали делать обратное.

Он положил ладони на стол.

— И я стал делать обратное. Тем же способом, каким строил: расчёт, чертёж, проверка, исполнение.

Он поглядел на меня.

— В расчёте нет людей. В расчёте есть нагрузка на ось.

— И вы про это не думали все два года? — переспросил я.

— Я про это не думал, — подтвердил он. — Пятнадцать месяцев.

— А на шестнадцатом? — не отпустил я.

Хальм помолчал.

— А потом был Орёл.

Я поднял голову.

— Что было в Орле? — насторожился я.

Он поглядел в окно.

— В Орле я работал двадцать один день, — выговорил он. — Двенадцать кварталов. Это был самый большой мой объект и самый лучший.

Он повернулся ко мне.

— И там я в первый раз поставил заряд в помещение, где стояли детские кровати.

В комнате стало очень тихо.

— Что это было за здание? — уточнил я.

— Школа, — подтвердил он. — Она была занята под госпиталь при немцах. Я ставил в марте, и там стояли кровати, и они были короткие.

Он снял очки снова.

— Я тогда посчитал, что госпиталь останется госпиталем. Это был правильный расчёт: русские всегда занимают под госпитали те же здания, что и мы, потому что там уже есть вода и печи.

Он поглядел на свои руки.

— И я поставил заряд с механизмом на шесть месяцев.

Он положил очки.

— А потом вышел на улицу и стоял там час.

Я не перебивал.

— Товарищ младший лейтенант, я вам скажу то, чего не говорил на допросах, — он поглядел на меня. — Потому что на допросах спрашивают, что я делал. А вы спросили, о чём я думал.

Он помолчал.

— Я стоял на улице и понимал, что расчёт правильный. И что через шесть месяцев в этом здании будут лежать раненые. И что я это знаю заранее.

Он помолчал ещё.

— И я не пошёл обратно и не снял.

— Почему не пошли? — не понял я.

— Потому что снять его мог только я, а меня видели, когда я входил.

Он выговорил это ровно, без нажима.

— Если бы я вошёл второй раз, это был бы саботаж. За саботаж в марте сорок третьего года у нас вешали на месте, без суда, и я это видел два раза в Брянске.

Он положил руки на колени.

— Я выбрал себя. Вот и весь ответ, и он вам не понравится.

***

Мы просидели в этой комнате до четырёх часов.

Сержант дважды заглядывал и дважды уходил.

— Хальм, я вам должен кое-что сообщить, — начал я наконец. — Тот заряд нашли.

Он поднял голову.

— Заряд в школе нашли? — переспросил он.

— Заряд в школе. В октябре сорок третьего, при повторной проверке. Механизм работал исправно.

Я поглядел на него.

— С первого октября там был госпиталь на сто двадцать коек.

Хальм закрыл глаза.

И просидел так секунд десять.

— Кто именно его нашёл? — спросил он.

— Старшина Гурьев. Двести тридцать пятый отдельный сапёрный батальон.

— Он остался жив? — насторожился Хальм.

— Он жив и сейчас, — подтвердил я. — Служит в Бобруйске.

Хальм открыл глаза.

— Товарищ младший лейтенант, я имею просьбу.

— Говорите вашу просьбу, — разрешил я.

— Я хочу знать, как он его нашёл.

Я поглядел на него.

И вдруг понял, что он спрашивает не из любопытства и не из уязвлённости.

Он спрашивает как инженер, чья конструкция не выдержала: где именно она не выдержала и почему.

— Он ходил по списку, — сообщил я.

— По какому это списку? — переспросил Хальм.

— По списку зданий, которые проверили в августе и признали чистыми, — я поглядел на него. — Он ходил по нему второй месяц и проверял по второму разу.

Хальм молчал.

— Зачем нужен был второй раз? — не понял он.

— Затем, что первый раз мог быть неполный.

— Кто ему это велел? — уточнил он.

Вот тут я и подошёл к тому, ради чего, наверное, вся эта работа и затевалась.

— Велел ему я, — признал я.

Он поглядел на меня.

Долго — секунд пять или шесть, не мигая, тем самым взглядом, каким глядят на чертёж, в котором что-то не сходится.

А потом снял очки, положил их на стол и выговорил по-немецки одно слово, которого я не понял.

— Что вы сейчас сказали? — не понял я.

Он подобрал русское слово.

— Крот, — выговорил он. — У нас в отделе вас так называли между собой.

— С какого времени? — уточнил я.

— С осени сорок третьего, — он положил ладонь на стопку. — Сперва это была шутка. Потом это перестало быть шуткой, потому что вы стали попадаться в сводках.

Мы сидели друг напротив друга в комнате три на четыре, в лагере номер сто шестьдесят восемь, в феврале сорок седьмого года.

Три года и восемь месяцев.

— Здравствуйте, Крот, — выговорил он наконец.

И протянул руку.

Я на эту руку поглядел.

И вот тут во мне поднялось всё сразу: хутор, семеро погибших до нас, скат под деревней, Гриша Соловьёв, Ерохин, Кузьмин, Гладышев, Панкратов с осколком в груди, Митрохина без ноги, мальчик на колодезном срубе в Гнилицах и Витька Соломин, погибший в марте сорок шестого от того, что показывал приятелям.

Всё это лежало между нами.

И я не подал руки.

Хальм подержал свою секунды три и убрал.

Он не обиделся — я это видел совершенно точно.

Он кивнул, будто получил ответ на вопрос, который сам себе задавал, и придвинул к себе чертёж.

— Тогда работаем дальше, — он обмакнул перо. — Объект восемьдесят пять.

***

В восьмом часу я вернулся в общежитие, поставил чайник и сел переписывать набело.

И не переписал ни строчки.

Я просидел над чистым листом до полуночи, и все эти четыре часа думал про одну вещь, которую он выговорил вечером, уже на пороге, когда сержант меня уводил.

Он тогда поднял голову от бумаг и обронил, ни к кому особенно не обращаясь:

— Товарищ младший лейтенант, я вам должен предупредить. В моём списке сто семнадцать объектов. Мы закончим их за четыре месяца.

— И что тогда? — насторожился я.

— И тогда останется то, чего нет в списке.

Он снял очки.

— Мы ставили не только по объектам. Была ещё одна программа, и её вели не мы, и я про неё знаю мало.

— Насколько мало? — уточнил я.

— Я знаю, что она была, — выговорил он. — Я знаю город, в котором сидел их отдел. И я знаю фамилию одного человека оттуда.

Он поглядел на меня поверх стопки.

— Но я вам её не назову, пока не решу, что вы с ней сделаете.

***

Сержант тронул меня за локоть, и я вышел в коридор.

А на улице, уже у ворот, пока дежурный листал мой пропуск, я стоял под фонарём, глядел на ровные ряды бараков с трафаретными номерами и считал в уме.

Сто семнадцать объектов. Четыре месяца. Потом — то, чего нет в списке.

Он мог это выговорить в любой из шести прошедших дней. Мог выговорить в первый.

Он выговорил это в тот самый вечер, когда я не подал ему руки.

И это тоже был расчёт, такой же чистый, как всё, что он делал одиннадцать лет на мостах и три года на дорогах: человек подвёл первый заряд, человек его снял и сделал два шага назад, чтобы поглядеть.

А там уже стоял второй, поставленный заранее и с запасом.

Глава 2

Астахов вызвал меня двадцать шестого февраля, в среду, и начал не с приветствия.

— Ковалёв, у вас двадцать один объект. Мне их надо проверить.

— Проверяйте, товарищ полковник, кто же вам мешает.

— Я не про бумагу, — ответил он. — Бумага хорошая, я её читал. Я про то, что бумага лежит в папке, а объект лежит в земле, и между ними может быть километр.

Он подвинул ко мне карту.

— Управление мне не верит. Мне звонили из Москвы и спросили, на каком основании я принимаю показания военнопленного как оперативные данные. Я ответил: на основании того, что их проверяет специалист.

— И что вам ответили в Москве?

— В Москве попросили фамилию специалиста, — он поглядел на меня поверх очков. — Я её назвал. Теперь езжайте и оправдывайте.

Я поглядел на карту.

Гомельская область, узловая станция, водокачка при ней. Объект восемьдесят три — тот самый, с которого Хальм начал в первый день.

— Товарищ полковник, у меня один вопрос, — произнес я.

— Спрашивайте, пока я добрый.

— Почему именно восемьдесят третий? — уточнил я. — У меня есть объекты проще и ближе.

Астахов снял очки и стал их протирать, и я уже знал, что это значит: он собирается выговорить то, что ему самому не нравится.

— Потому что восемьдесят третий — единственный, где он назвал место второго заряда не по памяти, а по своему правилу, — он отложил платок. — Если правило верное, у нас в руках метод. Если правило — выдумка сидящего человека, который хочет быть полезным, то у нас в руках двадцать один лист туалетной бумаги и я в Москве под трибуналом.

Он надел очки.

— Вот поэтому восемьдесят третий.

***

Выезжали двадцать восьмого, с товарным, в четыре пятнадцать утра.

Выездная группа была из Гомельского отряда: капитан Дрозд, сорока лет, с фанерным чемоданчиком и лицом человека, которому за полтора года мирного времени надоели все на свете; сержант Никифоров, здоровенный, молчаливый, двадцати шести лет, с руками, на которых не хватало половины левого мизинца; и лейтенант Сазонов.

Про Сазонова надо отдельно.

Двадцать два года. Выпуск сорок шестого года, училище в Костроме. Чистая шинель, чистые сапоги, планшет с целлулоидом, в планшете — карандаши трёх цветов.

На войне он не был ни дня.

И это было видно не по шинели, а по тому, как он садился в вагон: первым, бодро, забросив ногу.

Человек, который три года проходил на минах, в любой вагон садится последним и с той стороны, откуда видно, что делается снаружи.

— Товарищ младший лейтенант, а вы из управления? — окликнул он меня, едва мы тронулись.

— Из управления, инженерный отдел.

— А правда, что у вас там немец сидит? — поинтересовался он.

Дрозд поднял голову от чемоданчика.

— Сазонов, заткнись, — распорядился он. — Это раз. И два: чему тебя в Костроме учили про разговоры в вагоне?

Сазонов покраснел и замолчал.

Через час он не выдержал и придвинулся ко мне ближе.

— Товарищ младший лейтенант, а можно я хоть описание почитаю?

Я дал ему лист.

Он читал его сорок минут, шевеля губами, и два раза что-то отчёркивал ногтем.

— Здорово написано, — подытожил он наконец. — Как в учебнике.

— Вот это ты зря, — не согласился я.

— Почему зря? — не понял он.

— Потому что учебник пишут, чтобы человек понял. А это писал человек, который хотел, чтобы ты не понял.

Сазонов поглядел на меня, и я увидел, что он не понимает вообще.

— Так он же сам всё рассказал, — не понял Сазонов.

— Он рассказал то, что помнит, — я забрал лист. — А помнит он как ставил. Сазонов, ты сообрази: человек четыре года ставил так, чтобы никто не нашёл. Ты думаешь, за два месяца в лагере у него голова перевернулась?

Дрозд хмыкнул со своей полки.

***

Станция стояла в четырёх километрах от посёлка, и от неё осталось немного: один путь из четырёх, будка стрелочника, пакгауз без крыши и водокачка.

Водокачка стояла целая.

Кирпичная, восьмигранная, метров двенадцати высотой, с железной лестницей снаружи и баком наверху. Немцы её не взорвали при отходе, и это само по себе должно было насторожить кого угодно.

Не взорвали — значит, собирались вернуться. Или собирались, чтобы взорвалась потом.

Начальник станции, пожилой, в форменной фуражке поверх ватника, встретил нас у путей.

— Это вы по водокачке?

— По водокачке, — подтвердил Дрозд. — Она у вас работает?

— С сорок пятого работает, — доложил он. — Мы её в мае запустили, насос поставили новый.

— Кто проверял её в сорок четвёртом? — уточнил Дрозд.

Начальник станции снял фуражку.

— Проверяли, как не проверять. Осенью сорок четвёртого приходили, всю облазили. И расписались в книге.

— Книгу вы нам покажете? — попросил Дрозд.

— Покажу, она в конторе лежит.

Книга нашлась, и в ней действительно стояла запись: двадцать второе октября сорок четвёртого, проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено, подпись неразборчивая.

Дрозд прочёл и передал мне.

— Ковалёв, вы понимаете, что это значит? — переспросил он.

— Понимаю, товарищ капитан.

— Это значит, что если мы сейчас что-то найдём, то человек, который расписался в сорок четвёртом, пойдёт под суд.

Я поглядел на подпись.

— Товарищ капитан, а если мы ничего не найдём — то под суд пойду я.

Дрозд поглядел на меня, и что-то в его лице сдвинулось.

— Тогда пошли работать, — распорядился он.

***

Описание Хальма было такое.

Первый заряд: подвальное помещение насосной, под лестничным маршем, в нише за кирпичной закладкой. Двадцать четыре килограмма, механизм замедления на двенадцать месяцев, поставлен девятнадцатого декабря сорок третьего года.

Двенадцать месяцев истекли в декабре сорок четвёртого.

Значит, механизм не сработал.

Это могло значить три вещи: механизм отказал; заряд отсырел; или его вообще там нет.

Второй заряд: место не указано. Вместо места — фраза, которую я записал под его диктовку и потом трижды переспрашивал, правильно ли я её понял.

«Там, где будет стоять человек, который нашёл первый».

Мы спустились в подвал вчетвером.

Подвал был сухой, что уже само по себе было плохо — в сухом подвале взрывчатка стоит десятилетиями. Лестничный марш шёл от входа вниз и направо, бетонный, широкий. Под ним — глухая стена.

Никифоров посветил фонарём.

— Товарищ капитан, кладка тут вся одинаковая, — доложил он.

Дрозд подошёл и провёл ладонью по стене.

— Одинаковая, — согласился он. — Ковалёв, глядите сами.

Я поглядел.

Кладка действительно была одна: тот же кирпич, тот же шов, та же побелка сверху. Никакого следа закладки, никакого пятна, ничего.

И вот тут я вспомнил хутор.

Не сам хутор — бревно. Нижнее бревно сруба, которое он перекладывал одиннадцать раз, чтобы оно выглядело упавшим.

Человек, который три дня укладывает бревно, не станет закладывать нишу кое-как.

— Товарищ капитан, дайте мне молоток.

Я простучал стену снизу доверху, полосами, по шву.

Кирпич отзывался одинаково — плотно, коротко, как отзывается кладка на грунте.

И на четвёртой полосе, на высоте примерно моего колена, звук сменился.

Не сильно. На полтона.

— Вот здесь у вас пустота.

Дрозд подошёл и простучал сам.

— Я никакой разницы не слышу, — не согласился он.

— Простучите два раза подряд: здесь и левее на ладонь, — я показал ему точку.

Он простучал.

И поглядел на меня.

— Есть разница, — признал он. — Чёрт бы вас взял, Ковалёв. Есть.

***

Перед тем как начать, я выгнал всех наверх.

— Товарищ капитан, работаем вдвоём, — распорядился я. — Сазонов и Никифоров наверх.

Дрозд не стал спорить, но Сазонов стал.

— Товарищ младший лейтенант, я четвёртый месяц в отряде и ни разу не работал!

— Вот и хорошо, что не работал, — не принял я возражения. — Пойдёшь наверх и будешь записывать время. Каждые десять минут — отметка.

— Зачем отметка?

— Затем, что если через сорок минут снизу перестанут отзываться, ты будешь знать, с какой минуты считать.

Он ушёл.

Разбирали мы эту закладку три с половиной часа.

Не потому, что кладка была крепкая, а потому, что за ней могло быть что угодно, включая обрывное устройство на саму кладку. Снимали по кирпичу, снизу вверх, промывая шов водой из фляги, чтобы не пылить и чтобы видеть.

Работа эта тихая и очень нудная.

Берёшь кирпич, обстукиваешь по всем четырём сторонам, заводишь под него полотно ножовки без ручки и ведёшь на себя — на полсантиметра, не больше, — и слушаешь. Если пошёл свободно, вынимаешь и кладёшь на пол, рядом, в том порядке, в каком вынул. Если где-то придержало — останавливаешься и начинаешь думать заново.

На девятом кирпиче придержало.

— Что там у вас? — окликнул Дрозд.

— Кирпич не идёт.

Я завёл полотно с другой стороны и повёл сверху.

Кирпич качнулся.

И я почувствовал, как за ним что-то шевельнулось — не звук, а вес. Будто с той стороны к кирпичу было что-то прислонено и теперь оседало.

Я убрал руки и сел на пятки.

— Ковалёв, что у вас там? — не выдержал он.

— Погодите, товарищ капитан. Там за ним что-то стоит.

Мы просидели молча секунд сорок.

Это самое паршивое время в работе — когда ты уже понял, что за стенкой что-то есть, и ещё не знаешь что, и любое твоё движение может быть последним, а стоять на месте тоже нельзя, потому что то, что осело, может оседать дальше.

— Опустите фонарь пониже, к самому полу.

Дрозд опустил фонарь к самому полу.

В шве, у нижней грани кирпича, была щель миллиметра в два.

И в этой щели я разглядел кромку доски.

Не проволоку. Не шнур. Доску.

— Товарищ капитан, там подпорка. Он ящик досками расклинил, и одна доска легла на кладку изнутри.

— Вы в этом уверены? — переспросил он.

— Не уверен, — честно признался я. — Но если это подпорка, то она сейчас оседят мне на руки, и её надо принять.

Я принял её ладонью, через тряпку, и вынул кирпич левой.

Доска легла мне в руку. Сосновая, сантиметра три толщиной, сухая, как порох.

Я передал её Дрозду, и он молча положил её на пол, а затем мы оба поглядели на неё.

Человек, который расклинивал ящик, отпилил эту доску по месту и снял с неё фаску, чтобы она не скалывалась о кирпич.

Фаска.

В нише, которую он заложил навсегда.

***

К половине второго открылась ниша.

В ней стоял ящик.

Обыкновенный немецкий ящик, деревянный, обитый по углам жестью, с трафаретной надписью и с проволочной ручкой. Он стоял ровно, дном на кирпичной подсыпке, и был подпёрт с боков двумя обрезками доски, чтобы не качался.

Я поглядел на эти две доски и почувствовал то самое, что чувствовал два дня назад в комнате три на четыре.

Человек ставил ящик так, чтобы он простоял год и не сдвинулся ни на миллиметр.

Механизм мы вскрыли за двадцать минут.

Он был мёртвый. Кислотный замедлитель, стеклянная ампула, проволока — всё на месте, и всё сработало как положено, только проволока перегорела не полностью. Она держалась на волоске металла толщиной с волос, и держалась она так, судя по кислоте, с декабря сорок четвёртого.

Два года и два месяца.

— Товарищ капитан, глядите сюда.

Дрозд поглядел и сел на корточки.

— Это что же у нас получается, — не поверил он.

— Получается, что эта водокачка два года стояла на волоске, — я вынул ампулу и положил в коробку. — И качала воду на станцию.

Никифоров за спиной у нас выругался — негромко, себе под нос.

— Сазонов! — окликнул Дрозд. — Иди сюда, гляди, чему тебя в Костроме не учили.

И вот тут оно и случилось.

Сазонов подошёл, наклонился над нишей, поглядел на механизм — и сделал то, что делает всякий нормальный человек, когда хочет разглядеть предмет целиком.

Он выпрямился.

И шагнул назад.

Раз.

Я успел на втором.

Я его взял за ремень портупеи и дёрнул на себя так, что мы оба сели на пол, и фонарь Никифорова мотнулся по потолку.

— Стоять!

Сазонов сидел и глядел на меня совершенно круглыми глазами.

— Товарищ младший лейтенант, вы чего это? — не понял он.

— Не двигайся, — я держал его за ремень. — Никифоров, свети под него. Медленно.

Никифоров посветил.

Сазонов сидел на бетонном полу подвала, и под его правым сапогом, в тридцати сантиметрах, была трещина в стяжке.

Обыкновенная трещина. Бетон везде трескается.

Только эта шла не как трескается бетон — не от угла и не от нагрузки. Она шла полукругом, радиусом примерно полтора метра, с центром у ниши.

Стяжку здесь вскрывали и заливали заново.

Дрозд поглядел на эту трещину и медленно сел на ящик из-под инструмента.

— Ковалёв, вы это видите?

— Вижу с того места, где сижу.

— Он это в бумаге написал? — не понял Дрозд.

— Он это выговорил вслух, — я отпустил ремень Сазонова. — Двадцатого февраля, в девять сорок утра, в комнате при канцелярии.

Второй заряд лежал под стяжкой, в тридцати шести сантиметрах от поверхности, в два раза больше первого.

Сорок восемь килограммов.

Без механизма замедления — на нажимном датчике, накрытом доской и залитом сверху.

Три года и два месяца этот датчик ждал, когда на него встанет человек.

И он бы дождался, если бы Сазонов сделал третий шаг.

Вытаскивали мы его до темноты, и подробности я здесь опущу, потому что в них не было смысла, а вот что было необыкновенным — так это лицо Сазонова, когда мы кончили.

Он не был испуган.

Он был как человек, которому объяснили правило, по которому устроен мир, и это правило оказалось не то, что ему говорили раньше.

***

Начальник станции пришёл к нам в восьмом часу, когда всё уже лежало на брезенте у пакгауза.

Он поглядел на ящик, на второй заряд, на мотки провода — и сел на рельс.

Сел прямо в снег, в форменной фуражке, и минуты три ничего не говорил.

— Иван Матвеевич, вам плохо? — окликнул его Дрозд.

— Мне не плохо, — отозвался он. — Я считаю.

— Что считаете? — не понял Дрозд.

Начальник станции снял фуражку и стал вертеть её в руках.

— У меня насосная — она же и красный уголок, — выговорил он наконец. — Мы там зимой собираемся, потому что там тепло от насоса. Двадцать человек помещается.

Он поглядел на нас снизу.

— Двадцать третьего февраля собирались. Сорок пять человек было, с семьями. Дети под самой лестницей сидели, потому что там ступеньки, на них удобно.

Никифоров медленно повернул голову к подвалу.

— Иван Матвеевич, вы идите домой, — попросил я.

— Сейчас пойду, — он не двинулся. — Ты мне одно скажи, сынок. Оно бы от чего рвануло?

Я подумал, что ему ответить.

И ответил правду, потому что он всё равно её узнает от других, и лучше пусть узнает от меня.

— Оно бы не рвануло само, — начал я. — Первый заряд был на срок, и срок вышел два года назад, и механизм отказал. А второй стоял на нажимном, и под него надо было встать.

— А встать кому? — уточнил он.

— Тому, кто разбирал бы первый.

Начальник станции надел фуражку.

— Значит, оно ждало вас, — подытожил он.

— Оно ждало любого, кто нашёл бы первый, — поправил я. — Нам просто выпало прийти со схемой.

Он встал, отряхнул шинель и пошёл к будке, и уже от угла обернулся.

— А что бы было, если бы вы не приехали?

Дрозд поглядел на меня.

И я понял, что отвечать придётся всё-таки мне.

— Ничего бы не было, Иван Матвеевич, — подытожил я. — Стояло бы дальше. Год, десять, пятьдесят. А потом кто-нибудь полез бы ставить новый насос и начал бы долбить стяжку.

***

Ночевали мы в будке стрелочника.

Дрозд достал флягу, налил в четыре кружки и первым выпил свою, не чокаясь.

— Ковалёв, я вам скажу одну вещь, и вы её от меня не ждали.

— Говорите, я слушаю.

— Я вас утром в вагоне держал за штабного, — признал он. — Я думал: приехал молодой из управления с бумажкой от немца, сейчас будет учить меня работать.

Он поглядел в кружку.

— А вы этого дурака за ремень вытащили.

Сазонов сидел у печки и молчал.

— Товарищ младший лейтенант, — окликнул он наконец. — Я хочу спросить, и вы не сердитесь.

— Спрашивай, чего уж теперь.

— Откуда он знал, что я отойду?

Я думал над ответом минуты две.

— Он не знал, что отойдёшь ты, — начал я. — Он знал, что отойдёт человек.

— А разница?

— Разница вся, — я поставил кружку. — Он сорок с лишним лет прожил и одиннадцать из них строил мосты. Он на стройке видел тысячу человек, которые что-нибудь ставили, а потом отходили поглядеть, ровно ли встало. Вот и всё его знание.

Дрозд поглядел на меня поверх кружки.

— Страшный он у вас человек, — подытожил Дрозд.

— Он не страшный, товарищ капитан, — не согласился я. — Он внимательный. Это хуже.

Никифоров, который за весь день выговорил четыре слова, подал пятое.

— А почему это хуже? — не понял он.

— Потому что страшного можно убить и успокоиться, — я поглядел на печку. — А внимательного надо переучивать, и переучивать некому, потому что он всё делает правильно.

Дрозд налил по второй и убрал флягу.

— Сазонов, а ты чего не пьёшь?

— Я не умею, товарищ капитан.

— Сегодня умеешь, — распорядился Дрозд. — Пей и ложись, завтра в шесть.

Сазонов выпил, закашлялся и стал глядеть в печку.

Минут десять все молчали.

— Товарищ младший лейтенант, — окликнул он наконец. — А у вас первый раз когда был?

— В июне сорок третьего.

— И как оно вышло?

Я подумал, стоит ли ему это рассказывать.

И решил, что стоит, потому что человеку, который сегодня чуть не встал на датчик, вредно ложиться спать с мыслью, что он один такой дурак на свете.

— Плохо, — признал я. — Я тогда лёг на скат под деревней и полчаса не мог сообразить, с какой стороны заходить.

— И кто вам подсказал?

— Никто, — я поставил кружку. — Рядом лежал сержант и ждал. Он меня не торопил, и вот за это я ему до сих пор благодарен, а он погиб через одиннадцать дней.

Сазонов помолчал.

— А я сегодня даже не понял, что делаю, — выговорил он. — Я просто отошёл. Товарищ младший лейтенант, я ведь даже не думал.

— В том и дело, что не думал.

— И как мне с этим теперь быть? — не отпустил он.

Вот тут я впервые за весь день сказал ему то, ради чего, наверное, и надо было его брать в эту поездку.

— С этим надо быть так, — начал я. — Ты запомни сегодняшний день и прокрути его назад: подвал, ниша, ты наклонился, выпрямился, шагнул. И запомни, что шаг был не твой. Его за тебя сделал человек, который умер бы со скуки, если бы ему сказали, что он воюет.

Сазонов поглядел на меня.

— А что потом? — не понял он.

— А потом всю службу ставь себе вопрос: чей это шаг, — я лёг на лавку и накрылся шинелью. — И если свой, то делай. А если не разберёшь, то стой на месте.

Никифоров поворочался в углу.

— Хорошо сказано, товарищ младший лейтенант.

— Плохо сказано, — не согласился я. — Хорошо было бы, если б я это сам придумал. А я это подсмотрел у него.

***

В Минск я вернулся второго марта.

Астахов выслушал доклад стоя, ни разу не перебив, а когда я кончил, подошёл к окну и простоял к нему спиной секунд двадцать.

— Сорок восемь килограммов под стяжкой, — подытожил он наконец.

— Сорок восемь ровно.

— И на нажимном датчике.

— На нажимном, товарищ полковник.

Он повернулся.

— Ковалёв, вы понимаете, что вы сейчас привезли?

— Понимаю. Подтверждение метода.

— Нет, — покачал он головой. — Вы привезли основание. Теперь я могу писать в Москву не «показания военнопленного», а «методика, подтверждённая полевой проверкой». Это два разных документа и две разных моих судьбы.

Он сел и придвинул к себе бланк.

— Сколько у него ещё таких правил?

Я подумал.

— Не знаю, товарищ полковник. Он их не формулирует. Он их применяет.

— Так вытащите из него, — потребовал он.

— Вытащу, — пообещал я. — Только тут одна сложность, и я про неё скажу сразу.

Астахов поднял голову.

— Говорите, не тяните.

— Он отдаёт правило только тогда, когда оно ему нужно самому, — я поглядел на него. — Восемьдесят третий он вспомнить не мог. Правило вылезло, потому что без него объект не закрывался. А те объекты, которые он помнит точно, он описывает и молчит.

— И что вы предлагаете делать? — не понял он.

— Я предлагаю дать ему объекты, которых он не помнит.

Астахов положил перо.

— То есть работать не по списку, а по дыркам в списке.

— Так точно, товарищ полковник.

Он долго молчал.

— Ковалёв, а вы соображаете, что при этом вы у него в руках?

Я это понимал.

***

Хальму я доложил четвёртого марта.

Доложил — именно так, я это слово выбрал сознательно, потому что рассказывать ему было нечего: ему надо было доложить.

Он выслушал, как слушал всегда: не перебивая, положив ладони на стол.

И когда я кончил, спросил не то, что спросил бы любой другой.

— Товарищ младший лейтенант, я имею три вопроса. Первый: как именно шёл ваш лейтенант?

— В каком это смысле как?

— В прямом смысле, — уточнил он. — Он отходил спиной или он поворачивался?

Я вспомнил.

— Спиной. Два шага.

Хальм кивнул и записал.

— Второй вопрос: он отходил от ниши прямо или он брал в сторону?

— Прямо, — подтвердил я. — Он стоял лицом к нише, наклонился, выпрямился и пошёл назад.

Хальм записал и это.

— Тогда третий вопрос, и он главный. Сколько человек было в помещении?

— Нас было четверо.

Он поглядел на меня.

И снял очки.

— Это неправильно.

— Что именно тут неправильно?

— Мой расчёт был на двоих, — он положил очки на стол. — Я считал так: в подвал спускается двое, находят закладку, разбирают, один снимает механизм, второй светит. Снявший отходит. Светящий стоит.

Он показал на чертёж.

— Радиус я дал полтора метра. Для двоих этого достаточно. Для четверых — нет.

Я не сразу понял, что он мне сейчас выговорил.

А когда понял, у меня стало нехорошо в горле.

— Хальм, вы хотите сказать, что он получился слабым?

— Я хочу сказать, что он был рассчитан неверно, — подтвердил он. — Если бы ваш лейтенант встал на датчик, погибли бы все четверо, а я считал на двоих. Это перерасход. Сорока восьми килограммов там было не нужно.

Он надел очки.

— Товарищ младший лейтенант, я вам объясняю профессиональную вещь, а вы на меня глядите так, будто я сказал непристойность.

— Я на вас гляжу потому, что вы сейчас пожалели о перерасходе тротила.

Хальм положил карандаш вдоль края листа.

И помолчал.

— Нет, — не согласился он наконец. — Я не жалею о тротиле. Я говорю, что расчёт был плохой, и плохой расчёт — это единственное, что я умею назвать своим словом.

Он поглядел на меня поверх очков.

— У вас есть другое слово. Вы его знаете, а я его не знаю. И я семнадцать месяцев учил ваш язык, в том числе чтобы его найти.

Мы просидели молча, наверное, минуту.

За стеной стучала машинка, за окном капало с крыши — начиналась первая оттепель.

— Хальм, вернёмся к делу, — начал я. — У вас сорок объектов, которые вы помните приблизительно.

— Сорок один, — поправил он. — Я вчера разделил восемьдесят девятый на два.

— По этим сорока одному ваше правило работает?

Он ответил не сразу.

— По ним оно не работает.

— Почему не работает?

Хальм встал, подошёл к окну и постоял там спиной ко мне — второй человек за три дня, который так делал.

— Потому что до апреля сорок четвёртого года я ставил по этому правилу, — выговорил он, не оборачиваясь. — А в апреле сорок четвёртого правило изменили.

— А кто его изменил? — уточнил я.

— Не я.

Он повернулся.

— Товарищ младший лейтенант, до апреля я отвечал за свои объекты сам. С апреля пришла инструкция, и по этой инструкции второй заряд ставился не там, где встанет человек. Он ставился в другом месте, и я его ставил, потому что мне приказали.

— И в каком это было месте?

Хальм поглядел на меня, и я в первый раз за две недели увидел на его лице то, чего там не было ни разу: он был недоволен собой.

— Я не помню, — признал он. — Я ставил по инструкции, а инструкцию я не понимал. И то, чего человек не понимает, он не запоминает.

Он сел.

— Я помню одно: инструкцию привезли из Бреслау, и на ней не было подписи начальника нашего отдела.

Он придвинул к себе чистый лист.

— Это значит, что её писали не сапёры.

Я поглядел на этот чистый лист.

И подумал, что за две недели впервые слышу от него слово, сказанное не про работу.

Он мог выговорить «инструкцию писали в другом отделе». Он мог выговорить «её писали в Бреслау». Он выговорил «не сапёры» — и в этих двух словах у него уместилось всё, что он думал про людей, которые придумывают, как убивать, не умея при этом ничего делать руками.

Он и себя, и меня держал по одну сторону этой границы.

И самое поганое было то, что я эту границу видел точно так же.

В тот вечер я написал Астахову рапорт на полторы страницы и в конце приписал одну строку, которой он от меня не ждал.

«Прошу запросить в трофейном управлении все документы отдела заграждений, поступившие из Бреслау в период с марта по май тысяча девятьсот сорок четвёртого года».

Он эту строку подчеркнул красным карандашом и вызвал меня на другой день.

Но это уже другая история, и начинается она с того, что запрос ушёл, а ответ на него пришёл не из трофейного управления.

Глава 3

Ответ на мой запрос пришёл через девять дней, и пришёл он не оттуда, откуда я его ждал.

Астахов вызвал меня тринадцатого марта, в четверг, в семь тридцать утра — то есть за полчаса до начала служебного времени, что само по себе означало разговор не для канцелярии.

Он сидел за столом, и перед ним лежал один лист.

Не папка. Лист.

— Ковалёв, садитесь.

Я сел.

— Вы у меня в феврале спрашивали, куда его повезут, когда кончатся объекты, — начал он. — Я вам тогда ответил: туда, где решают не сапёры.

— Помню такой разговор.

Он подвинул лист ко мне ребром ладони, но не отпустил.

— Так вот, туда уже не надо везти. Оно само приехало.

Я прочёл.

Бумага была короткая, в шесть строк, с угловым штампом, которого я не знал, и с номером, у которого не было ни дроби, ни буквенного индекса.

«Младшему лейтенанту Ковалёву П. А. явиться 13 марта с. г. к 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Урицкого, д. 4, комн. 22. При себе иметь удостоверение личности. Материалы, находящиеся в работе, не брать».

Подписи не было. Вместо подписи стояла фамилия, отпечатанная на машинке.

Крутов.

Я поглядел на эту фамилию, наверное, секунд двадцать.

— Товарищ полковник, вы знаете, кто это?

— Я знаю, что это не моё ведомство, — ответил он. — И знаю, что ваш запрос ушёл десятого утром в трофейное управление, а тринадцатого числа ко мне на стол легло вот это.

Он забрал лист.

— Ковалёв, я вам задам один вопрос и хочу простого ответа. Вы этого человека знаете?

Тут надо было решать быстро.

Я мог соврать. Я мог сказать, что фамилия мне незнакома, и Астахов бы поверил, потому что моя личная война с Крутовым была не по его ведомству и не в его бумагах.

Но он только что за меня расписался в Москве.

— Знаю, товарищ полковник, — признал я. — Он вёл по мне проверку в сорок пятом и сорок шестом году. Двадцать один месяц.

Астахов положил лист в стол и запер ящик.

— По какому поводу проверка?

— По поводу того, откуда я знаю то, что знаю.

Он поглядел на меня очень внимательно.

И не спросил, чем проверка кончилась, и не спросил, что именно я знаю, и этого я ему не забыл ни тогда, ни потом.

— В одиннадцать, — распорядился он. — И вот что, Ковалёв. Возвращайтесь сюда после. Хоть в двенадцать, хоть в девять вечера. Я буду на месте.

***

Дом четыре по Урицкого был трёхэтажный, довоенный, с новой штукатуркой на втором этаже и старыми выбоинами на первом.

Ни вывески, ни часового снаружи.

Часовой был внутри, за дверью, и он мой пропуск читал так долго, что я успел сосчитать все плитки на полу вестибюля.

Комната двадцать два оказалась на втором этаже, в конце коридора.

И когда я туда вошёл, я в первую секунду решил, что ошибся дверью.

Потому что за столом сидел человек, которого я не узнал.

Крутов сорок пятого года был сухой, поджарый, с прямой спиной и с тем особенным спокойствием, которое бывает у людей, никуда не торопящихся, потому что все всё равно придут к ним сами.

Этот был толще килограммов на десять, с одутловатым лицом и с мешками под глазами.

И китель на нём был не тот. В сорок шестом он носил майорский. Сейчас на погонах было по одной звезде больше.

— Пётр Андреевич, — окликнул он. — Проходите, садитесь.

Я сел.

Он ничего не стал доставать из стола. Он просто сложил руки и поглядел на меня, и с полминуты мы молчали.

— Год и три месяца, — подытожил он наконец.

— Год и два, товарищ подполковник. Последний раз был в январе сорок шестого.

— В январе, — согласился он. — Двадцать шестого числа, в шестнадцать сорок. Я вам тогда отдал сто восемь листов.

Он поглядел на меня.

— И один оставил себе.

Вот так, с третьей фразы, он выложил на стол то, ради чего, наверное, и вызвал.

— Я помню, товарищ подполковник.

— Я знал, что помните, — не стал спорить он. — Вы такие вещи не забываете, я вас за двадцать один месяц изучил лучше, чем кого бы-то ни было еще.

Он открыл ящик, вынул тонкую папку и положил перед собой.

Не открыл.

— Пётр Андреевич, я вас вызвал не по этому поводу, — начал он. — Но раз вы уже сидите и глядите на папку, давайте с неё и начнём, чтобы вы потом слушали меня, а не её.

Он развязал тесёмки.

Внутри лежал один лист.

Я его узнал сразу, потому что я его сам писал: опись, сделанная моей рукой, на тетрадной бумаге в клетку, с датами в левом столбце и пометками в правом.

Сто девятый лист.

Тот самый, который не попал в пачку, которую он мне вернул.

— Вы его читали? — уточнил я.

— Я его читал сто раз, — подтвердил Крутов. — И знаете, что я вам скажу, Пётр Андреевич? Я его до сих пор не понял.

Он повернул лист ко мне.

— Вот тут у вас в правом столбце против семнадцати позиций стоит пометка. Одна и та же. Вы её ставили карандашом, а потом обводили чернилами.

Я поглядел.

Пометка была: «не наше».

— Объясните мне, что это значит.

Я подумал, как это объяснить человеку, которому нельзя объяснять.

— Это значит, что по семнадцати объектам почерк был чужой, — начал я. — Не тот, что по остальным.

— Чужой — это в каком смысле? — не понял он.

— Хуже, — я показал пальцем. — Грубее гнездо. Скоба бита вкось. Подрыв рассчитан с запасом, которого не нужно.

Крутов кивнул.

— То есть у вашего немца был ученик.

— У немца, которого тогда не было в природе, — поправил я. — Я тогда его фамилии не знал.

— А теперь знаете.

— Теперь знаю.

Он забрал лист и убрал в папку, и папку отодвинул на угол стола — так, чтобы она была видна.

— Пётр Андреевич, я вам эту бумагу не отдам, и вы даже не начинайте, — предупредил он. — Но я вам скажу, почему.

Он встал и подошёл к окну.

— Я её не отдаю не потому, что держу вас на крючке. Я её не отдаю потому, что она единственный документ, где кто-то отделил одну руку от другой. У меня в ведомстве такого документа нет, и у военных нет, и в трофейном управлении нет.

Он повернулся.

— Она у меня одна.

— Товарищ подполковник, а почему это стало вам нужно?

Крутов вернулся к столу и сел.

И вот тут он вынул вторую папку, и эта была толстая.

— Потому что десятого марта в трофейное управление пришёл запрос за подписью полковника Астахова, — выговорил он. — И этот запрос попросил документы, поступившие из Бреслау в марте — мае сорок четвёртого года.

Он положил ладонь на папку.

— Запросов в трофейное управление приходит по сорок штук в месяц. Этот подняли наверх за четыре часа.

— Могу я поинтересоваться почему?

— Потому что по документам из Бреслау за этот период стоит ограничение, — он поглядел на меня. — И ограничение поставил не я и не в сорок четвёртом.

Крутов развязал вторую папку.

Но открывать её не стал. Он положил на неё обе руки, как кладут на закрытую крышку.

— Пётр Андреевич, я вам сейчас скажу то, чего вам по должности знать не положено, — начал он. — И скажу по одной причине: если я вам этого не скажу, вы сами докопаетесь, потому что вы уже копаете. А человек, который копает вслепую, поднимает наверх всё подряд, включая то, что поднимать нельзя.

Он помолчал.

— Немецкий отдел заграждений, в котором служил ваш Хальм, был инженерный. Штатные сапёры, штатная документация, нормативы, отчётность. Всё как у нас.

— Это я понял за две недели.

— А вот в декабре сорок третьего появилась контора, которая занималась тем же самым, но не была инженерной, — он постучал пальцем по папке. — Она сидела в Бреслау и подчинялась не по линии сапёров.

— По какой линии?

Крутов поглядел на меня.

— По полицейской.

Я сидел и смотрел на закрытую папку.

— Товарищ подполковник, я не понимаю, зачем полиции минировать мосты.

— А они не мосты минировали.

Он сложил руки.

— Пётр Андреевич, вы за три года работы поняли одну вещь, которую понимают не все: мина стоит не против того, кто на неё наступит. Она стоит против того, кто придёт после.

— Это я понял на второй неделе.

— Ну вот, — согласился он. — А теперь вообразите себе контору, у которой задача не задержать колонну и не сорвать переправу. У которой задача — чтобы на территории, с которой они ушли, ещё пять лет было нельзя жить.

Он поглядел на меня.

— Не воевать. Жить.

Я молчал.

— Школа, больница, водопровод, элеватор, мельница, — перечислил Крутов. — Чтобы человек, который вернулся в свою деревню, полез чинить мельницу и не починил её ни в сорок четвёртом, ни в сорок восьмом, ни в пятьдесят третьем.

Он развязал наконец тесёмки.

— У меня в этой папке сто шестьдесят четыре случая за два года. И ни один из них не подходит под сапёрный норматив.

Он стал выкладывать листы — не все, а через один, как сдают карты.

— Шестое августа сорок пятого, Полоцкий район, колодец. Четверо. Двадцатое мая сорок шестого, Могилёв, подвал детского сада, при разборе завала. Один взрослый, двое детей. Одиннадцатое сентября сорок шестого, Брянская область, мельница.

Он остановился на четвёртом листе.

— А вот это, Пётр Андреевич, вам будет интересно.

Я взял лист.

И прочёл первую строку дважды, потому что с первого раза не поверил.

«Гнилицы, Орловской обл. 14 марта 1946 г. Погиб Соломин Виктор Степанович, 1932 г. р.»

Я знал этот случай.

Я знал его так, как знаешь собственный шрам: Витька Соломин, четырнадцати лет, нашёл на огороде и стал показывать приятелям.

Мне про это написали в апреле сорок шестого, и я тогда неделю не мог работать.

— Вы знаете этот случай, — подытожил Крутов, следя за моим лицом.

— Я его знаю наизусть.

— А вот чего вы не знаете, — он перевернул лист и показал оборот. — Заключение сапёрной экспертизы от двадцать второго марта. Читайте четвёртый абзац.

Я прочитал.

И почувствовал, как у меня холодеет затылок.

«Взрывное устройство изготовлено кустарно, корпус — жестяная банка из-под консервов, снаряжение — тротиловая шашка 200 г, взрыватель нажимного действия самодельный. Установлено на глубине 4–6 см в обработанном грунте (огород). Признаков штатной немецкой постановки не обнаружено».

Не немецкая мина.

Самоделка.

— Товарищ подполковник, — выговорил я, и голос у меня был не мой. — Это поставил не немец.

— Это поставил не немец, — согласился Крутов.

— Тогда кто его поставил?

Он забрал у меня лист и положил в папку.

— А вот на этот вопрос я вам отвечать не буду, потому что ответа нет, — признал он. — У меня на сто шестьдесят четыре случая двадцать два, где экспертиза дала то же самое. Кустарь. Одна и та же школа, одна и та же рука, одна и та же банка.

— Товарищ подполковник, а по каким признакам вы их свели в одну руку? — уточнил я. — Банка из-под консервов — это не признак. Банок по всей стране миллион.

Крутов вынул из папки ещё один лист и подвинул ко мне.

— Вот вам признаки, читайте с четвёртого пункта.

Я прочёл.

И на четвёртом пункте понял, что человек, писавший экспертизу, был толковый.

«4. Нажимная планка во всех случаях выполнена из кровельного железа, ширина 30–32 мм, кромки загнуты внутрь на 3 мм.

5. Контактная пара — два гвоздя строительных, 100 мм, забиты в деревянное основание на расстоянии 11–12 мм.

6. Основание — обрезок доски, торцы опилены, фаска снята с трёх сторон».

Фаска.

Я положил лист на стол и сидел, наверное, полминуты.

Потому что ровно два дня назад я держал в руках сосновую доску с фаской, вынутую из ниши в гомельской водокачке, и человек, снявший ту фаску, сидел сейчас в комнате три на четыре и раскладывал объект девяносто первый.

— Товарищ подполковник, у вас тут написано «фаска снята с трёх сторон».

— Написано, — согласился Крутов. — И что это вам говорит?

— Это говорит, что его этому учили, — я подвинул лист обратно. — Фаску на подкладной доске снимают, чтобы она не кололась и не давала занозы под нажимную планку. Это не самоделка. Это самоделка человека, которого учили по нормативу.

Крутов откинулся на спинку.

И мы с ним минуты две глядели друг на друга, и у обоих в голове было одно и то же.

— Вы понимаете, что вы сейчас выговорили? — уточнил он.

— Понимаю, — подтвердил я. — Я выговорил, что он учился у того, кто сидит у меня в лагере.

Он завязал тесёмки.

— И все двадцать два — на территории, которую немцы оставили в сорок третьем и сорок четвёртом. И все — после сорок пятого года.

Я сидел и считал.

Витьке Соломину было четырнадцать. Он погиб в марте сорок шестого, через два года после того, как немцы ушли из Гнилиц.

Кто-то поставил самодельную мину на огороде через два года после ухода немцев.

— Товарищ подполковник, ученик, — выговорил я.

Крутов поглядел на меня.

— Вот, — подтвердил он. — Теперь вы понимаете, зачем мне сто девятый лист.

Мы просидели в комнате двадцать два до половины третьего.

Он принёс чаю — сам, из коридора, в двух стаканах с подстаканниками, и это было настолько не похоже на Крутова сорок пятого года, что я даже не сразу взял стакан.

— Пётр Андреевич, теперь условия, — начал он. — Слушайте внимательно, я повторять не стану.

Я молча кивнул.

— Первое. Вы продолжаете работать с Хальмом по линии Астахова, как работали. Объекты, описания, выездные проверки — это всё ваше и его, я туда не лезу.

Он отставил стакан.

— Второе. Всё, что Хальм говорит про Бреслау, про полицейскую линию и про своего ученика, идёт ко мне. Напрямую. Не через Астахова.

— Товарищ подполковник, а почему не через Астахова?

— Потому что Астахов честный человек и подошьёт это в дело, — он поглядел на меня поверх стакана. — А дело читают двенадцать человек.

Я подумал.

— А третье условие какое?

— Третье вам понравится меньше, — предупредил он. — Вы не спрашиваете Хальма про ученика прямо.

— Почему мне нельзя спрашивать прямо?

— Потому что он вам соврёт, — Крутов поставил стакан. — Пётр Андреевич, ваш немец два месяца сидел и раскладывал по памяти сто семнадцать объектов. Человек с такой головой понимает, что ученик — это его единственный товар, который ещё не продан.

Он поглядел на меня.

— Он его отдаст последним. И отдаст тогда, когда кончится всё остальное.

Я поставил стакан.

— Товарищ подполковник, а теперь мои условия.

Крутов поднял брови — и я в первый раз за два года увидел на его лице что-то похожее на удовольствие.

— У вас есть условия? — не поверил он.

— У меня оно одно.

— Тогда называйте.

— Панкратов, — начал я. — Старшина Панкратов, Николай Фёдорович, двадцать восьмой отдельный сапёрный батальон. Демобилизован в сорок пятом по ранению. Живёт в Вязьме, работает сторожем при артели.

Крутов молчал.

— Я подавал четыре рапорта на разрешение выезда, и все четыре завернули, — договорил я. — Основание одно: нахожусь под проверкой.

— Вы больше не под проверкой, — поправил он. — Проверка закрыта двадцать шестого января сорок шестого года.

— А рапорта всё равно заворачивают.

Он взял перо и придвинул к себе бланк.

— Заворачивают, потому что в личном деле подшита выписка, а выписку никто не читает, читают штамп, — он стал писать. — Когда вы хотите ехать?

— В апреле, если управление отпустит.

— Управление отпустит, — не отпуская пера, подтвердил он. — Что вам от него нужно?

Тут я мог соврать и сказать, что хочу навестить старика.

Но врал я Крутову двадцать один месяц и знал, чем это кончается.

— Он последний, кто был на хуторе, — признал я. — Северцев погиб. Панкратов живой. И я хочу спросить у него одну вещь, которую не спросил в сорок третьем.

— Какую вещь?

— Это моё дело, товарищ подполковник.

Крутов дописал строку, поставил дату и отложил перо.

— Хорошо, — согласился он. — Пусть будет ваше.

Он подул на бумагу.

И уже у двери, когда я взялся за ручку, окликнул меня так, как окликают, когда весь разговор был ради этого.

— Пётр Андреевич.

Я обернулся.

Крутов сидел за столом, и обе папки лежали перед ним — тонкая и толстая.

— Последний вопрос, и отвечайте сразу, не думая, — попросил он. — Хальм вам называл фамилию?

Я стоял и держался за дверную ручку.

Он ведь мне её действительно не назвал.

Он выговорил ровно так: «Я знаю фамилию одного человека оттуда. Но я вам её не назову, пока не решу, что вы с ней сделаете».

То есть формально ответ был — нет.

— Не называл, — отозвался я.

Крутов поглядел на меня.

И медленно кивнул, и я понял по этому кивку, что он не поверил ни одному слову и что это его совершенно устраивает.

— Идите, — распорядился он. — Машина внизу, вас отвезут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.